

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ



Русский характер
Военные рассказы



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Толстой, Алексей Николаевич.
Т52 Русский характер : военные рассказы / Алексей Толстой. — Москва : Эксмо, 2023. — 384 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-181189-1

В этой книге собраны рассказы, очерки, статьи и письма Алексея Николаевича Толстого (1883—1945) о войне и патриотизме. В центре сборника стоит цикл «Рассказы Ивана Сударева». Здесь нет абстрактных рассуждений. Автор описывает быт, характер своих героев, их мысли и диалоги. А главное — поступки. И с каждым таким отдельным штрихом перед читателем проявляется общая картина, которая впечатляет и масштабом, и смыслом. В 1943 году Толстой был участником первых открытых процессов над пособниками фашистских преступников и помогал в подготовке материалов для Международного военного трибунала в Нюрнберге. Не понаслышке знающий, что происходит на фронте, он мастерски показал, как проявляется русский характер в самых сложных ситуациях.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-181189-1

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

— Да-с, никогда не думал, никогда не думал; вдруг я — завоеватель! Писал себе этюды, готовил картину — что-нибудь весьма особенное — ни Пикассо, ни Матисс, ни Гоген, а тоже такое... Ах, какая чепуха все эти мои необыкновенные идеи... То меланхолия, бывало, заест, то проснусь ночью и смотрю на пустое полотно... и кажется, вот-вот-вот... а дойдешь до дела — ничего не выходит. Так что, я думаю, вся эта моя живопись была одной нервностью, а не искусством. Да и мы все таковы — возбуждаемся чрезвычайно быстро и легко, самыми только кончиками нервов; дальше, в глубину, ничего не идет, одни эти кончики-пупочки работают в мозгу, и происходит точно радужная игра на поверхности, точно нефть на реке. Да и не только живопись, не только искусство, вся жизнь — одни пятна нефти. Духа нет ни в чем, заключен он, закован, загнан в такую темноту, в такую глубину — дух, что я уже не знаю, какая нужна катастрофа, чтобы он поднялся до моего сознания. А эти радужные круги, мелочь вся, не нужны! Нет! Черт с ними! Знаете, мы выставку, например, устраиваем. И еще до открытия все насмерть перегрыземся, честное слово, а публика приходит на вернисаж свои туалеты показывать, а не смотреть на наше откровение. Я себя так понимаю — как лужа на асфальте; солнце светит, и в луже облака отражаются

и вся бесконечность, а подул ветер — и ничего, кроме лужи, нет, никакой бесконечности, так что я больше от барометра завишу, чем от Бога, честное слово.

Демьянов сжал рот и замолк на мгновение. Он сидел на войлочной подстилке между двух товарищей — офицеров. Сдвинув фуражку, подняв худое бритое лицо, он медленно мигал, охватив колени. Перед ним, сбоку высокого шоссе, на кочковатом поле горело множество небольших костров. Около них стояли, сидели, лежали солдаты. Вспыхивающее пламя выдвигало из темноты груженные двуколки, очертания коней, опустивших морды, составленные треножником ружья. Осенние звезды иногда тускнели, задернутые несущимся тонким, невидимым облаком тумана. Белый и плотный туман этот разлился по реке, пересекающей поле, сделал ее широкой и косматой. Было совсем тихо. Слышно, как хрустели лошади и бранился утомленный дневным переходом солдат.

— И вот представьте, я — завоеватель. Иду покорять страны, — продолжал Демьянов, — об этом я только читал в истории да в романах. Но мало ли что пишут, правда? А пошел я на войну не потому, что мне было приказано, и не потому, что ненавижу австрияков, и не потому, что мне нужна завоеванная страна. Я не знаю, для чего пошел, но меня точно ветер поднял. Да и не только меня — всех. Но я знаю одно — завоеватель должен чувствовать себя сильнее духом, чем те, кого идем покорять. Но когда начну думать об этом, получается страшный сумбур. С прошлым, со всем, что я делал до сегодняшнего дня, покончено. Вчерашнее мне не нужно, завтрашнего не знаю. А душа полна, страшно полна...

Офицер, лежащий справа, опираясь на локоть, протянул подошвы к догорающим углям, улыбнулся и проговорил:

— Знаете, а я никогда так не думаю, как вы. Мне ужасно нравятся звезды, костры, солдаты, туман...

— И Надежда Семеновна, — сказал второй офицер, он лежал позади Демьянова навзничь, подсунув ладони под затылок.

— Да, конечно, но это вовсе не причина того, отчего мне все нравится, — сейчас же ответил первый. — Надежда Семеновна — замечательная девушка, такой нет еще, она, понимаешь ли, совершенная... вот такая... — Не найдя слов, чтобы рассказать, какая Надежда Семеновна, он сел и затем ножами ударил по тускнеющим углям; они рассыпались, засияли, и несколько искр поднялось, полетело над сырой травой, погасло в воздухе.

После молчания лежащий офицер сказал:

— Разумеется, я навек счастлив, слушая ваши разговоры, господин прапорщик и господин подпоручик, но не угодно ли вам проверить сторожевое охранение. Смеем заметить, что мы уже не в России и завтра можем попасть в бой. Уходите к чертям с моей кошомки, я хочу спать.

Демьянов поднялся, оправил пояс, фуражку, поглядел на угли и пошел мимо костров в темное поле, где, если пригнуться, можно различить на еще не погасшей заревом полоске одинокие фигуры часовых. Из тумана над речонкой кричал коростель.

— Ах, как хорошо кричит, — проговорил Демьянов; и давешнее смятение словно образовалось в теплый шар, подкатилось к сердцу. — Ах, как хорошо кричит, — повторил он.

Сторожевые стояли в порядке. Никто не спал. За последние дни перехода по завоеванной земле солдаты были взволнованны: они много шутили, пели песни, а вечером на привалах слушали рассказы бывалых уже в деле вояк; приказания офицеров выполнялись с необычайной охотой и быстротой. Постояв, послушав, подумав бог знает о чем, Демьянов вернулся в лагерь.

Здесь спали почти все: кто завернувшись с головой в шинель, кто подложив под бок товарища для теплоты. Костры медленно угасали, протягивая по земле дымок.

Пробираясь между спящими, Демьянов услышал нешибкий и знакомый голос. Словно он слышал его когда-то очень давно, точно в детстве, под ометом соломы, в такую же звездную ночь. Так говорят мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово, покачивая головой.

— Разве я теперь жену люблю? Есть жена, ребятишки — трое у меня, — так пусть и будут. А война, парень, — ты с ней не шути.

На это ответил ему другой голос, помоложе:

— Три недели ты, дядя Митрий, отбыл, значит, опять воевать?

— А то как же: кабы я за это дело не взялся, а то я взялся. Пуля в кости у меня сидит. Ну так что ж, все-таки я действую. А ты в первый раз идешь, тебе непонятно.

Первый голос замолк. Демьянов подошел к тлеющему костру. Перед ним, глядя из-под густых бровей на угли, сидел на коленках коренастый солдат с большой черной бородой. Фуражку он снял, и голый череп его белел в темноте. Другой солдат, широколицый, усатый, стоял, опершись на ружье.

Видя подходящего офицера, длиннобородый хотел было встать, но Демьянов остановил его и сказал:

— Послушать подошел, Аникин, что-то не спится.

— Послушайте, отчего не послушать, — ответил Дмитрий Аникин и опять уставился на угли, затем ладонью всей провел по лицу и бороде и сказал: «Малого учу: кабы нам бог войны не дал, ограбил бы нас. Народ стал не-серьезный. Чего не надо — боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку вот она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь — она цены не имеет. А у нас праведник на крови свой расчет полагал. Кровь — она как пыль, только глаза застилает. К ней надо привыкнуть. Умирать надо хорошо, как жить, а жить — как умирать. Вот я как это дело понимаю».

— У нас Митрий дюже на австрияка осерчал. Так уж развоевался — беда! — усмехаясь Демьянову, проговорил широколицый солдат. Он сказал это только для барина, который не должен и не мог понять настоящего разговора.

Но Дмитрий Аникин слишком уже далеко зашел в своих мыслях и не поддался на обычную зубоскальскую перемену разговора, а молвил еще серьезнее:

— Мне что австрияк, что немец — все одно. Мы этого не разбираем. А ты вот, парень, пойми, — народу у нас сила? Так? А все дураки: сами себя растеряли. Спроси: где живешь? «В России». А какая она, Россия? «Не знаю». Одну деревню свою знаешь, дурак, да бату с мамкой. Вот бог-то немца и замутил: «Навались да навались — они сами себя не понимают». Ведь это, парень, не шутка — на все государство он посягнул, немец. Вот нам разум-то и прояснило от этого. Очень теперь ясно стало. Отступай — не отступай, а ты, значит, вперед иди, и штыками тебя будут колоть, и пулей стрелять, а ты все иди, до самого синего океана. До берега океанского дойдешь, тогда войне во всем мире окончание. Так-то, барин, — неожиданно сказал Аникин, надел фуражку, поднялся и пошел к двуколкам, где пропал в темноте.

2

Полк поднялся на заре, закипятит котелки, но неожиданно был приказ выступать, и рота за ротой, взбираясь на откос, двинулись по шоссе. В луга, вперед и в стороны, словно щупальцы, побрели дозорные. Обоз, помещавшийся еще вчера между третьим и четвертым батальонами, был оставлен позади.

Демьянов шел в головной роте. Шинель его, туго перетянутая ремнем, намочла от росы и топорщилась. Он поднял воротник, надвинул фуражку и шагал в ногу с рябым и высоким солдатом, который, косясь на офицера, нет-нет да и приговаривал: «Эх, чайку-то не попили».

Солнце взошло, и свет его блестел по всему полю, по темно-зеленой траве, влажной, точно после дождя. Желтые, наполовину завядшие ивы были наклонены ровно направо и налево с обеих сторон дороги. Впереди в хрустальном воздухе стояли темные леса, за ними синели отроги гор.

Поглядывая на все это исподлобья, Демьянов морщился и фыркал. «Да перестань ты, пожалуйста, бормо-

тать», — обратился он к рябому солдату. Тот мигнул испуганно, поправил на плече винтовку и приотстал. Демьянов обернулся назад. За ним колыхались рыжие, русые, бородатые и усатые лица, в помятых картузах, спокойные и пыльные. Над ними топорщились штывы, и сплошная, страшно длинная эта колонна, лягушиного цвета, терялась далеко позади, заволакивая солнце облаком пыли.

Демьянову хотелось увидеть Аникина; он приостановился с края дороги. Аникин спокойно шел в накиннутой поверх мешка и винтовки шинели и жевал хлеб, откусывал его белыми зубами прямо от полкраюшки.

— Здравия желаю! — сказал он весело. — Не желаете ли хлебца отведать? У меня и луковка есть, сам было едва не съел; думаю: дай барина угощу.

Он отломил кусок хлеба со следами зубов, вытащил из кармана луковку и подал. Демьянов молча взял, глядя с удивлением на Аникина: ни вчерашнего важного голоса, ни сурово насупленных бровей не было у него; он хоть бы подмигнул, — виду не подал, а казался солдат как солдат, даже и с луковкой.

Вчерашние туманные слова его необычайно взволновали Демьянова: он почувствовал прикосновение к живой той силе, какую только мыслил повсюду; она была и в нем, но еще глухая и смутная. Он не спал ночь и думал, боится он смерти или нет? А если боится, то как станет ее встречать? «Кровь как пыль — глаза застилает», — повторял он, еще не сознавая, от какого света она застилает глаза. Обо всем этом он хотел спросить Аникина, и поэтому ему было неприятно глядеть на его белые зубы, жующие ржаной хлеб, на хитрые глаза, глуповатую усмешку.

— Погромыхивает, ваше благородие, хорошо потрескивает, — сказал Аникин, кивнув бородой в сторону лесов.

Демьянов, очнувшись, поглядел туда и действительно услышал ворчание, глухие раскаты, словно за синими лесами в голубых горах ворочался с боку на бок запоздавший осенний гром.

Все солдаты слушали теперь это ворчание. Пыльные, давеча ленивые, лица их стали суровыми и внимательными. Кто нес ружье вниз штыком, переложил его на правое плечо. Кто на ходу скатывал шинель; оправлял мешки за спиной; иные переговаривались, спрашивали; прищурясь, глядели туда. Сбоку шоссе подскакал ординарец-грузин, с выкаченными глазами, ловко одетый, и слишком громко закричал: «Приказано развертываться в резервную колонну!»

3

Развернутый в резервную колонну полк быстро двинулся влево от шоссе, чрез некошенные овсы, по гречихам и жнивьям, к лесу.

Демьянов необычайно легко, радуясь этой легкости, скользил ногами по траве, стараясь, чтобы никто его не обогнал. С такой же легкостью перепрыгивали его мысли с одного пустяка на другой. То он восхищался вдруг непромокаемыми своими сапогами, то засвистел вслед выскочившему зайцу, то, обертываясь и глядя на солдат, радостно думал: «Как хорошо, как хорошо, весело». И все радостнее, сильнее билось сердце. Он даже подумал, что надо бы его попридержать, — что-то уж слишком бьется.

Полк вошел в лес, чистый, высокий и редкий. Громовое ворчание пушек усилилось: вырывались из него отдельные двойные удары. Аникин каждый раз приговаривал: «Работай, работай, разговаривай». И странной казалась эта музыка пушек в лесу, будто гудели, мрачно разговаривали между собою вековые сосны, качая вершинами. Лес окончился, и рота вошла в деревеньку.

Соломенные домики были повернуты окнами во все стороны, огорожены ивами и плетнями. Поле отсюда поднималось тремя пологими волнами до гребня высоких и редких деревьев. За деревьями, между стволами, в синем небе лежали плотные облака, и оттуда-то доносились канонада.

Солдаты окружили колодец, заскрипели журавлем. К Демьянову подошел седой старичок, быстро заговорил, норовил поцеловать руку. Демьянов точно издалека заметил, что у него черные, печальные, как у собаки, глаза, а из-за бараньего воротника белой свитки высовывается жилистая, в крови, грязная шея; старик тыкал пальцем на деревья перед облаками, показывал на шею и все норовил поцеловать руку.

Этот синий обрыв за деревьями и низкие белые, спокойные, *как всегда*, облака оглушили Демьянова. Он полагал, что, выбежав из леса, увидит солдат, стреляющие пушки, битву; она представлялась простой, веселой и человеческой. Но невидимый грохот шел из-за облаков. «Что они там делают? — думал Демьянов. — Полнеба гремит, разве так можно! Куда же идти в такую пропасть?»

— Прапорщик, я вам в третий раз кричу: передайте ротному — продвинуться до деревьев, рассыпаться в цепь! — услышал он голос давешнего ординарца, поглядел в круглые глаза его и сказал:

— Сейчас сделаем.

Веселое возбуждение упало. Все мысли Демьянова застыли, как лед. Крича солдатам, он не слышал голоса, а быстро шагая с холма на холм, не чувствовал ног своих. Он поискал глазами Аникина и не нашел. Когда же деревья были в ста шагах всего, то побежал к ним рысью, задохнулся, оперся о шершавый ствол сосны и поглядел вниз.

Внизу, под обрывом, лежало ровное зеленое, исчерченное прямыми полосками поле; синеватым кольцом охватили его с трех сторон леса; за ними поднимались горы, и справа, слева и прямо ухали, били, раскатывались удары, но не было ни людей, ни дыма — ничего. Остальные роты полка взобрались на гребень левее Демьянова. Невдалеке появился всадник. Демьянов узнал в нем полковника, который долго глядел в бинокль, затем сказал что-то подъехавшему ординарцу, затем обернул голову, поднял руку и резко опустил ее. Сейчас же из-за деревьев

отделились фигуры солдат и посыпались вниз по всему склону.

Холодно стало Демьянову, схватило дыхание от восторга: он не мог молвить, вытащил шашку, стал лицом к солдатам, хотел сказать: «Братцы!» — но слезы едва не задушили его, только замахал шашкой и побежал вниз, прыгая через кусты.

4

Рота, в которой вторым офицером был Демьянов, вошла в бой. Ясно сознавали это немногие бывшие уже в деле солдаты. Поле казалось пустым, обыкновенным; давно скошенный клевер закурчавился и цвел в третий раз.

Солдаты добежали до первой канавы и легли в нее, оглядываясь, куда же нужно стрелять.

Демьянов присел на колени, вынул бинокль, но руки его так дрожали, что на мгновение только он увидел в запотевших стеклах танцующие деревья и три облачка над ними. Затем обернулся к лежащему рядом солдату и с трудом проговорил:

— Ты ничего не видишь?

— А вон она как пыхнула, шрапнель! — ответил солдат и оказался Аникиным.

«Как хорошо, что он со мной», — подумал Демьянов.

— Так ты говоришь, те облачка — шрапнель? Вот оно что!..

Действительно, мелькнувшие в бинокль три облачка появлялись теперь во множестве впереди над лесом. Сначала открывался в небе огонек, потом расплывалось плотное облачко, над ним — другое, повыше — третье, и они медленно таяли. Затем в воздухе появился стремительный шипящий звук.

— Завыла! Это непременно по нас, — сказал Аникин.

Демьянов оглянулся на него: он лежал на животе, выставив бороду; лицо было умное, внимательное и злое.

А шипенье в воздухе надвигалось, словно в лоб между глаз влетала невидимая гибель (Демьянов открыл рот и втянул голову), и тотчас шипение вонзилось в землю, неподалеку, разорвало весь воздух вокруг, полетели комья и поднялся черный косматый столб земли.

Демьянов вскочил и побежал к тому месту. Около развороченной ямы сидел солдат, плевал грязью и пальцами тер глаза.

— Запорошило меня всего, — ответил солдатик, — не вижу я ничего, чистое наказание! — И сейчас же слышалось второе шипение, и в той же канаве грохнул и поднялся столб.

Демьянов вернулся на место. Теперь он знал — по нем стреляли.

— Слушай, тебе страшно? Мне совсем не страшно, — сказал он Аникину, — как странно, правда? Я бы тут целый век пролежал.

— Ничего, ничего, успеете еще напужаться, — успокоил Аникин. — Прямо в нашу канаву шпарит, а где он притулился — поди разыщи!

Действительно, снаряды падали в канаву и перед ней, грохотом наполняли поле, пылью застилали глаза. Но никто еще не был ранен. С каждым разрывом возбуждение и радость сильнее охватывали Демьянова. Не хотелось двигаться — только слушать, ожидать. «Не боюсь, не боюсь, какое наслаждение!» — повторял он. Приказано было продвинуться вперед и налево. Солдаты стали перебегать по двое и поодиночке до следующей канавы, протянувшейся к овсяному полю. Но едва достигли ее, как вслед за грохотом гранаты послышался резкий и дикий крик.

«Ротного, ротного убило!» — заговорили солдаты. Демьянов, не пригибаясь, придерживая шашку, побежал туда. Ротный (вчерашний офицер, прогнавший его с кошмы) лежал на боку, выбросив руки. Трава около его головы (голову Демьянов не рассмотрел) была залита кровью. Демьянов присел над ним и, кусая губы, стал глядеть *туда*, вперед, откуда приносилась смерть.

Услышав крик минуту назад, он похолодел, съежился так, что стал меньше муравья. Затем, куда бежал к убитому офицеру, которого любил, уважал и восхищался, он совсем забыл себя и опасность. Глядя на мертвые руки, бессильно и покорно лежащие на траве, он во второй раз сегодня едва сдержал слезы — теперь уже не восторга, а острой и мучительной жалости. И только решась, наконец, посмотреть на кровь, вдруг собрался весь, словно успокоился и постарел намного. Теперь, внимая звукам гранат, он опускал только голову, сжимал зубы. Давешний восторг беготни и острое затем наслаждение боя показались ему нестерпимо стыдными, точно он из шумной улицы вошел в иной мир — в пустынный, мрачный и торжественный храм.

Четыре роты подвигались по широкому полю от канавы до канавы (остальные батальоны ушли чрез овсяное поле и скрылись за лесом). Солдаты не видели противника и не знали, куда и зачем нужно идти. Не знал этого и Демьянов, принявший команду над ротой. Он помнил только приказ: пересечь поле и налево занять лес. Но что будет там, в лесу, он не понимал, и казалось, что этого никто не знает.

Всем, попавшим в сражение в первый раз, кажутся бессмысленными, беспорядочными, ни с чем не связанными действия своей части. Только потом начинают верить в руководство над всеми невидимой и умной силы. Эта сила действует на огромных пространствах, передвигает полки, дивизии и корпуса, перебрасывает через леса и горы десятки тысяч солдат и вместе с тем предоставляет каждому действовать так, будто от него зависят победа и поражение. Демьянову казались жуткими эти свобода и ответственность. От сознания его осталась малая, зато необычайно ясная часть, и она вся была направлена на то, чтобы как можно меньше потерять солдат, быстрее достигнуть леса, налево за овсяным полем.

Крайняя рота скрылась уже за деревьями, вторая перебежала в овсы, третья и демьяновская лежали, наскоро

окопавшись, в клевере. Теперь выстрелы и разрывы смешались в один рев; по всему полю поднимались косматые столбы земли, взвивался дым, и воздух и леса кругом грохотали тяжело и гулко.

Солдаты присмирели: кто кряхтел, кто беспокойно оглядывался, кто вдруг начинал с яростью стрелять в невидимого противника. Налево из овса поднимались фигуры, бежали, согнувшись, к лесу и вновь ложились. Иные выпрямлялись на бегу, поднимали руки и опрокидывались навзничь, кто головой вперед. Теперь над овсами возникло множество облачков. Они медленно надвигались с овсов к последней роте.

Демьянов понял, что если оставаться лежать не двигаясь, то через несколько минут вся его рота будет засыпана шрапнелью и погибнет, не достигнув леса. Он так и подумал: «Погибнет, не достигнув», и на мгновение почувствовал гордость, что рассуждает хладнокровно. Лес был всего в тысяче шагах. Демьянов пошел по рядам солдат, увидел черную бороду Аникина, ткнул его сапогом в подошву и закричал, нагнувшись:

— Если прямо нам до леса бежать, как ты думаешь?

Аникин посмотрел на него и ответил:

— Отчего же, можно и добежать.

— Только не через овес, а правее, вон в ту загогулину.

— Можно и в загогулину, — ответил Аникин, — только как бы нас там не того.

— Чего же может случиться?

— Кто их знает!.. Как бы на пулемет не налететь.

Но Демьянов уже вышел вперед, махнул рукой и рысью, отогнув полы шинели, побежал по полю. Затем, задохнувшись, стал, боясь оглянуться: он вдруг вспомнил, как убитый ротный в бывшую войну побежал вот так же впереди солдат, на полпути обернулся и увидел, что он один, — никто не последовал за ним, потому что поступок его был явно бессмысленный и ненужный. Демьянов ждал, не оборачиваясь, чувствуя, как густо краснеет.

Но вот позади послышалось сиплое дыхание. Справа, покаясь на него, пробежал рябой солдат; рот его был широко раскрыт, глаза налиты кровью. Слева выбежали еще двое; затем, степенно прихрамывая, протрусил Аникин. «Слава богу!» — подумал Демьянов. И сейчас же рябой солдат впереди подлетел на воздух и закутался облаком дыма и земли. Аникин и те двое кинулись влево, но выпрямились вновь (точно птицы после выстрела). Демьянов увидел яму и торчащие из нее ноги. «Это он чайку-то все хотел попить», — подумал он. Затем показалось странным, почему впереди только трое солдат. Он обернулся — поле было покрыто бегущими. «Ага, вся рота поднялась», — опять подумал он и вдруг споткнулся и только тогда сообразил, что бежит изо всей мочи. На опушке он остановился, прижался спиной к дереву. Подбегали солдаты, оглядываясь на упавших по пути.

На самом деле по всей огромной площади, занимаемой тремя корпусами Н-ной армии, происходило следующее: на севере — две дивизии брали станцию железной дороги; первый корпус двигался в обход с севера, чтобы одним своим появлением в тылу неприятеля заставить его очистить и станцию и господствующие высоты; остальные две дивизии второго корпуса должны были сдерживать натиск южнее станции; еще южнее дрался третий корпус; в его задачу входило опрокинуть противника и гнать его в таком направлении, чтобы линия австрийских войск повернулась, как вокруг оси, у станции на северо-запад и тылом своим, естественно, наткнулась бы на первый корпус. Полк, в котором служил Демьянов, не должен был атаковать или выбивать с места какую-нибудь неприятельскую часть, а только демонстративно продвигаться вблизи неприятеля, сначала с севера на юг, затем, по выполнении общего плана, — с юга на северо-запад.

Но ничего этого, конечно, не знали ни Демьянов, ни солдаты. Всем была ясна одна цель — отыскать неприятеля и заставить его убежать оттуда, где он засел.

Демьянову видны были только человек сорок, идущих сквозь лес. Остальные солдаты затерялись за деревьями. Солнце опустилось. В зеленом сумраке слышался треск сучьев, перекликанье и голоса. Вверху неподалеку раздался резкий, металлический визг, полетели ветки. Впереди деревья поредели. Демьянов приостановился посмотреть на карту. Человек пятнадцать перегнали его, выбежали на поляну, и сейчас же, заглушая все звуки, хлестнул, точно бичом, затрещал проворно впереди пулемет.

Демьянов только что видел пятнадцать человек в зеленых рубашках, в скатанных шинелях; теперь шестеро из них сидели за деревьями, держа ружья; остальных не было видно совсем. Позади громко стонали. Демьянов крикнул: «Ложись!» — и сел в папоротники. Шесть человек стреляли из-за деревьев; а *оттуда* под резкую, хлесткую стукотню неслись пули. Две из них чмокнули в клен над головой; валились сучки, и слышался шорох, свист, точно от пчел. Ясно, что ни подняться, ни продвинуться было нельзя, либо ждать темноты, либо неожиданной помощи.

Внезапно пулемет замолк, и сейчас же Демьянов услышал голос Аникина: «Свалил, ребята, одного, другой прячется» — и затем подряд еще три выстрела, и к ногам Демьянова прыгнул, как медведь, с дерева сам Аникин.

— Чисто! Пожалуйте! Можете пройтись, как на параде; их там только двое и было, — сказал он, показывая белые зубы.

Демьянов посмотрел на них, потом в глаза, — глаза были ясные и дикие.

Солдаты быстро поднимались, перебегая поляну, заглядывая на то место, где за кустиками между двух дубов, в ямке стоял пулемет. Вцепясь пальцами в его колеса, навалившись на зеленый ствол грудью, сидел над ним серенький человек, поджав по-турецки ноги; низко склоненная голова его покачивалась, точно он все время

кланялся, а из темени выливалась густая и темная струя. Рядом из кустов торчали еще чьи-то ноги в башмаках.

«Кланяется», — шепотом говорили солдаты, окружив пулемет. «Отдыхается». — «Ну нет, от этого не отдыхаешься, у нас в селе этак же угостили одного чуркой: помотался да помер». — «Вы, буде зря болтать-то!» — «Чай, у него родня тоже есть». — «Присягу принимал, не хуже тебя».

Подошел и Демьянов, но в сумерках было уже трудно что-нибудь разобрать. Крикнув на солдат, он приказал держаться теснее и взял направление через лес, прямо на юг.

В лесу едва различимые стволы теперь совсем растаяли в сумраке. Нужно было идти, протянув руки, чтобы не налететь на дерево. Солдаты легонько покрикивали: «Гого-гого!» — и в темноте только и были слышны эти негромкие тревожные голоса. Вдруг земля ушла вниз. Демьянов покатился по кустам и руками попал в студеную воду. Ругаясь и треща валежником, покатались и солдаты в лесной овраг.

Так они двигались в потемках очень долго. На полянах, где было посветлее, останавливались, поджидали отставших, сверялись с компасом. В одном месте все начали, чертыхаясь, спотыкаться в неглубокие ямы. Затем услышали голоса. Один быстро бормотал, точно читал книжку; из травы кто-то выводил однообразно: «О-оо», «о-оо»; еще кто-то печально и тоненько плакал. Солдаты приостановились. По всему лесу слышались эти стоны и голоса.

— Ребята, это — австрияки; я одного за голову схватил, ей-богу! — зашептал кто-то из солдат.

Подальше на поляне стояла распряженная санитарная линейка; другая лежала перевернутая. Демьянов сел на колесо, оглядывая едва различимых, медленно выходящих из леса солдат. Было ясно, что заблудились, что вышло несчастье и нужно дожидаться рассвета. Солдаты зачиркали спичками, в сырости потянулся махорочный дым. Демьянов вспомнил, что не курил с утра, и уже сунул руку за портсигаром, но сейчас же вскочил: по лесу ясно

слышался конский топот. Солдаты побросали огоньки и легли. Затем затрещали кусты, и тревожный громкий голос крикнул: «Стой, ребята, свои, которой части?» — и пять казаков, сдерживая фыркающих лошадей, подъехали к Демьянову.

6

В полуверсте от этой полянки, в брошенном селеении, ночевали три батальона полка; четвертый собирався и подходил, не хватало только демьяновской роты, которую казаки и разыскивали по лесу, очищенному неприятелем.

В селение пришли с рассветом. Солдаты сейчас же повалились и заснули. А когда позеленело небо на востоке и грохнуло, раздаваясь в горах, первое орудие, полк выступил вновь. Первоначальная задача его была изменена. Полк из резерва перебрасывался в дело, а две роты (в том числе и демьяновская) назначались для прикрытия дивизиона полевой артиллерии.

Демьянов спал не больше часу за эту ночь, приткнувшись на дворе у омета соломы. Он уже не думал ни о чем, ничего не желал. Когда сонный командир выговаривал ему за вчерашнюю оплошность, он не оправдывался.

Шагая по жнивью впереди своей роты, он глядел, как занималась и светлела заря, как уменьшались и гасли звезды, и то, что минуту назад представлялось неясным на земле, постепенно оказывалось кустом, опрокинутой повозкой, ткнувшейся в землю человеческой фигурой.

Понемногу этих лежащих фигур становилось все больше; они были разбросаны по полю, как снопы. Демьянов сообразил, что это — австрийцы, убитые во время вчерашней атаки селения. Но ему стало уж все равно, обходил ли он куст по пути, или мертвого человека. Заметив, чтодвигающийся слева Аникин поглядывает, точно хочет заговорить, Демьянов отвернулся: Аникин был ему неприятен; не хотелось ничего напоминающего вчерашний

день, суетливого и растрепанного. Казалось — вернуться к себе, к своим ощущениям, прошлым и обычным, теперь немислимо и противно. Было желанно одно: остаться в той холодной, умной пустоте, где все равны, где ничего не страшно, ничего не жаль, где точно и бесстрастно действует центральная сила, передвигающая сейчас ноги Демьянова.

К восходу солнца миновали поле убитых и дошли до подножия лесистого невысокого бугра, где стояли шесть влажных пушек. Затем продвинулись через лес и окопались на его опушке. Солнце было подернуто легкими облаками; его свет, мягкий и ровный, заливал впереди узкое, извилистое между лесов поле, доходящее до подножия гор.

В бинокль Демьянов рассмотрел, как вдалеке из южного леса на поле задвигались темные точки, — сначала редко, потом все гуще. И тотчас сзади ударил короткий выстрел и над головой свистнул снаряд, исчезая в синей дали, где и расплылся облаком над точками. И опять выстрел и свист, выстрел и свист, и, как вчера, забило сердце у Демьянова, но не возбуждение он почувствовал или восторг, а спокойствие — точно глубоко удовлетворяли его эти выстрел и свист.

Темные точки впереди задвигались быстрее вперед, в сторону, затем их стало меньше, они скрылись опять в лесу. Батарея наша замолкла.

Демьянов опустил голову к траве. Перед его носом на тоненьком стебельке росли красные ягоды, похожие на костянику. Он долго глядел на них, затем подумал: «А может быть, они ядовитые?» — усмехнулся, сорвал ягодки и стал их жевать; они были кислые и утолили жажду. Тогда Демьянову ужасно захотелось есть; он стал искать еще ягод, вытащил сладкий корешок, пожевал его и проглотил. И затем, лежа на боку, думал о разных вещах: о своем родном городе, о том, что девушка, которую он любил, так и не полюбила его; перед ним прошел ряд знакомых лиц, и милых и безразличных. Он представил

свою мастерскую, прибранную перед отъездом, и ему показалось, что на все это он смотрит точно с большой высоты, и все кажется ему милым, простым, немного печальным, но, быть может, таким, к чему можно и не возвращаться.

Полевая батарея еще два раза принималась стрелять, затем под вечер снялась и промчалась на рысях мимо Демьянова в северный лес. Тогда обе роты поднялись, прошли по полю версты три и окопались в гребне небольшого оврага.

Затихшая было канонада возобновилась перед сумерками с такою силой, что полевые пушки, стрелявшие опять через головы роты, едва были слышны, точно булькали. Грохот и треск неслись с окружающих гор; задымились лесные опушки, и нельзя было понять, как это еще жив здесь хоть один человек.

Много раз появлялись разорванные кучки людей, но добежали они лишь до середины поля. Австрийцы засели в южных лесах, русские — в северных. Демьянов видел, как пошел в атаку рота за ротой его полк. Солдаты, перебегая, ложились и окапывались. Когда же достигли середины поля, навстречу им из леса выбежали серые человечки, смешались и двинулись назад. Им на помощь выбегали новые. А навстречу из лесов отовсюду повалили наши зеленые солдаты. Несколько рядов их подобралось и залегли совсем близко от роты. Демьянов пересилил себя, вскочил, перешагнув через окоп и быстро зашагал вперед; когда же услышал, что его нагоняют, прибавил шагу.

«Зык-зык-зык!» — посвистывали пули. Но не было страшно и не было радостно. С каждым мгновением точно отсчитывалось в мозгу: «Вот жив, вот жив». Затем Демьянов с трудом закрыл рот; оказывается, он кричал все время, и горло саднило. Наконец шагах в десяти поднялась из земли черномазая и усатая голова в сером кепи, прищурила большой глаз и пыхнула огнем. Затем вскочил на ноги весь человек, рядом с ним — другой, третий; человек двести точно выросли из-под земли; опустив штыки, они пятились, хотя расстояние между ними уменьшалось

быстро; наконец Демьянов схватился за широкий штык и шашкой ткнул в середину серой куртки, между двух пуговиц; конец шашки уперся, затем вошел быстро и легко. Демьянов поднял глаза, но не увидел лица того, а только закинутый черный подбородок и хватающие воздух руки. И сейчас же стал задыхаться; хотел сказать: «Что это?» — но не было голоса. И чтобы как-нибудь вздохнуть, опустился и лег на спину.

7

Влажные тени покрыли поле. Одна за другой замолкали пушки. Щелкали еще выстрелы на юге; затем и они прекратились. Настала тишина, торжественная и спокойная. Открылись звезды; на полнеба разлился закат, а на горах пылали деревни; высокие красные языки пламени возносились в безветренное небо, точно хотели коснуться его ласковым, зыбким своим телом; иногда от пламени отделялся язык и, вознесясь, таял. Понемногу вершины лесов, стволы, одинокие сосны залились розовым светом.

Демьянов лежал на спине, положив руку на грудь, на то место, куда вошла пуля. Он чувствовал, будто торжественная тишина, и осенние звезды, и закат, и пылающие горы — все для него. Он лежит посреди мирового покоя, величественной, огненной тишины, и звезды близки ему, как трава. И точно сердце его охватило все, что видят глаза, и все, чего жаждет душа, и все это в нем, и потому такой покой. Затем он стал думать, все ли в жизни торжественно, все ли хорошо. Ему опять припомнились и лица и вещи, о которых он думал. И все, что припомнил, показалось прекрасным, будто лица и вещи осветились и стали страшно значительными.

«Вернусь и объясню им это, и все они станут жить по-иному», — подумал он и опять взглянул на звезды. Над его головой ясно горело, точно жемчужное, созвездие. «Ну, да это тоже просто и понятно, — подумал он. — Нет смерти — только радость».

Послышались негромкие голоса. Подошли трое, говоря по-русски. Один наклонился и прошептал: «Он и есть!» Демьянов перевел глаза с жемчужного созвездия на знакомое лицо с черной длинной бородой. «Жив!» — опять сказал голос.

Затем Демьянова подняли, положили на шинель и понесли. На шинели покачивало, как в люльке, и звезды вверху колыхались направо и налево. «Так и голова закружится», — подумал Демьянов, закрывая глаза.

А когда опустили его на землю, стало немного больно. «Ничего, потерпите, паренек за линейкой побежал, — проговорил опять Аникин. — Очень солдаты обиделись, когда вы упали, ей-богу, а мы ведь думали, не найдем». Демьянов посмотрел на него, вспомнил, как он дал ему луковку, хотел пошутить — нет ли у него еще луковки в кармане, но вместо этого охнул. Аникин сердито затряс бородой и нагнулся, всматриваясь. «Хорошо мне», — едва слышно прошептал Демьянов. «То-то», — шепотом же отвечал Аникин и вдруг поцеловал его в губы; сейчас же отошел и закричал сердито: «Эй, ты, черт сонный, правой держи, ворота линейку-то, барин, вишь, обижается».

НА КАВКАЗЕ

I

Февраль 1915 г.

Вдалеке, за ровным белым пространством, сиял горный хребет; жаркое солнце стояло высоко; небо синее — весеннее, и вершины далекого хребта кажутся точно выкованными из серебра. Поезд прошел Минеральные Воды, и к полудню вдруг кончилась зима. На равнине извивались речки, стояли камыши, стога, кустарники, по черным дорогам тянулись арбы на буйволах, и горы с правой стороны стали синее неба, у подножия их стели-

лось облако испарений. Попозже солнце залило их золотой пылью, потом, к склону дня, они стали оранжевыми, багровыми и скрылись, когда закатилось солнце. И все это время, не отдаляясь, выше всех горела разным светом двойная вершина Эльбруса.

Сосед по купе — полковник — рассказывал про жизнь в этих горах пастушеских племен — карачаев, сванов, кабарды. В южных крутых склонах выдолблены большие пещеры, в них от грозы, града и на ночь загоняются стада. Пастухи, уходя вглубь, по многу лет не видят своих аулов, куда нужно попасть, перевалив иногда четыре снежных перевала. Живут в пещерах, прикрытых берестой, устланных сухими листьями; частые стремительные грозы губят стада, не успевшие скрыться. Иногда в ливень и град можно видеть, как по вздувшейся речке плывут черной кошмой утонувшие бараны. Из-за гор приходят абхазцы и крадут коней и быков.

Однажды полковник и его помощник, работавшие с казаками по съемке главного хребта, были приглашены на соседнюю гору есть корову к абхазцам. Полковник с помощником пошли поели, легли на кошме над пропастью; в сумерках пришли два пастуха; абхазцы им тоже дали поесть коровы; наевшись, пастухи начали спрашивать: «Абхазцы, вы у нас двух коров украли?» — «Нет». — «Побожитесь». — «Ей-богу». — «А может быть, вы?» Наконец абхазцам надоело. «Мы твоих коров украли, одну в Тифлис продали за пять туманов, другую сам сейчас кушаешь, а шкура на сучке висит». — «Мы на вас в суд подадим». — «Вот что: хочешь кушай, хочешь — убирайся к черту». Пастухи подсели к полковнику, стали жаловаться. «Как вы, рожденные рабынями, посмели меня оскорбить, — ответил им полковник, — я здесь кушал, я гость, как я могу судить моих хозяев, за кого меня считаете! Я должен позвать казаков и сбросить вас под скалу за оскорбление, но, между прочим, я вас прощаю, уходите скорей...» Таковы обычаи в горах.

О предгорных местечках я прочел в местной газете приблизительно следующее: «Война! А у нас как было много лет назад. Вон там изо всей мочи дуют в зурну и пляшут себе по щиколотку в грязи. Тут сидят и обсуждают, почему Магаме выдано из кредитного товарищества семьдесят пять рублей. Вот выполз из-за своих банок аптекарь и глядит, куда это мог бы идти начальник почтового отделения.

Около участкового начальника — обычные просители и пара оседланных лошадемок. Тихо у нас и очень грязно. Вот уже сколько времени курица старается перейти улицу и не может. Мы читаем газету — я и он. Ба! Один турецкий корпус уничтожен, другой почти тоже, третий взят в плен. «Ого», — говорю я. «Ого», — повторяет он. Я спешу рассказать об этой новости кому-нибудь из ближайших соседей. Они отвечают лишь удивленным восклицанием: «Ва-а!» Вот и все».

Ночью подходим к морю. Ночь звездная, темная: сильный мокрый ветер пахнет гниющими водорослями: у самой насыпи, освещенная летящими окнами, возникает пена из черной воды. На станциях глухо гудит море... Под Дербентом из земли пылают вечные огни.

Весь последний день едем на запад по необъятной, плоской и пустой равнине. Кое-где на ней стадо баранов или буйволов, иногда покажется всадник в папахе и бурке. Вдали, направо, сливаются с небом горы; уловимы только их сияющие вершины, точно длинное, без конца, свернутое облако над землей. Земля здесь плодородна, родит хлопок и рис, но мало воды; к июню равнина стоит выжженная и пустая; стада и люди уходят в горы.

С опозданием на час приезжаем в Тифлис. Обдав меня запахом чеснока, носильщик схватил чемодан, протолкался сквозь толпу солдат, горцев, всякого и по-всякому одетого галдящего люда и посадил в парный экипаж. Извозчик, молодой толстый армянин, повернул ко мне маленькую голову, обдал запахом чеснока и спросил:

— Куда тебя везти?

Я никогда не видел большей сутолоки, чем на тифлисском вокзале 5 февраля, хотя в этот день ничего особенного не случилось, если не считать некоторых возвращающихся беженцев.

В залах нельзя было протискаться. У кассы стоял красный жандарм; видно, как прыгали его усы, открывался рот, но голоса не было слышно; здесь же человек, похожий на Авраама, со сладкими глазами, молча показывал коробку с явно дрянными папиросами. Лакеи с тарелками кидались в тесноту и пропадали. Когда же разрешено было садиться, из зал на перрон вывалилась толпа, крича на девяти языках, и облепила вагоны; на площадках, отбиваясь от лезущих, громче всех кричали кондуктора, махая фонарями.

Таковы здешние нравы: если можно, например, постоять — человек стоит столбом до последней крайности, после чего начинает безмерно суетиться, будто ждет его величайшая опасность.

Я с трудом занял место. Проводник, косматый старичок с обмотанной шеей, появлялся то на передней, то на задней площадках, выпихивая лезущих отовсюду восточных людей, и ругался при этом, как старая собака, беззвучным хрипом. Пробежал армянин, громко плача, — у него только что украли деньги. Появился контролер. Сказал проводнику громким и явно фальшивым голосом, что, мол, начальник движения что-то там разрешил. И проводник сейчас же всунул в вагон четверых зайцев, взяв с них по рублю. Подошли солдаты, говорят проводнику: «Земляк, подвези». — «Никак не могу, проходите». — «На чай тебе дать, тогда сможешь, крыса». — «Я тебе сам на чай дам, эх ты, голый!» — «Это я голый? — обиделся солдат. — А в ухо не хочешь?» Поезд вырвался, наконец, из всей этой толкотни. Два паровоза, дымя и свистя в темноте, потащили набитый людьми поезд на снежные перевалы. Контролер появился опять, и началось странное: двое

пассажиров сейчас же заснули, лицом к стенке — их так и не могли добудиться; третий, подняв воротник, пролез мимо контролера в уборную, где и заперся совсем. «А, вы из Карповичей? Всех Карповичей знаю», — сказал кондуктор четвертому и забыл спросить билет. Ко мне в купе на каждом полустанке стучались, чего-то требовали, старались кого-нибудь впихнуть, пока я не закричал в шелку, что начальник дороги — мой ближайший друг; тогда оставили в покое.

Тоннели и снежные перевалы мы проехали ночью, теперь же двигались по неширокой долине, мимо садов, чайных плантаций, небольших домиков на столбах; было тепло, влажно и так тихо, что дымки отовсюду поднимались не колыхаясь. На станциях, зятянутых ползучим виноградом, окруженных большими плакучими деревьями, выпрыгивали из вагонов смуглые оборванцы в башлыках, останавливались в гордых позах, глядели на все это — на снежные неподалеку горы, на двух буйволов, запряженных в арбу, — и точно через глаза оборванцев прямо в них переливались вся тишина, вся эта красота; раздавался звонок — они не слышали; поезд трогался, тогда сразу, крича и толкаясь, лезли они обратно в вагоны, цепляясь за ручки, наводили ужас друг на друга оскаленными зубами.

На площадке, отворив дверь, сидел на откидном стульчике офицер: лицо у него было узкое, в морщинах, обветренное до красноты; на багровом носу — пенсне; отмокшие в утренней сырости усы висели. Он подмигнул на оборванца в башлыке и сказал мне:

— Сидит этот где-нибудь на горе, натаскает земли на голые камни, кукурузу посеет и сыт — больше ему ничего не надо, только разве подраться. Теперь они все спокойны. А когда турки к самому Батуму подошли — большое было волнение; вся Аджария на турецкую сторону перешла; получилось глупейшее положение: турок отбросили, и у аджарцев ничего, кроме винтовки, не осталось; гляди с горы на свою деревню — а уж вернуться

нельзя. Да что аджарцы — эти в горах одичали, — сманить их было нетрудно; турки как в ловушку попались — сами на себя петлю надели. Видел я их под Сарыкамышем: такое впечатление, будто их на убой гнали сорок дней по снегу. А снега там, — он кивнул на юг, — мягкие, глубокие, рассыпчатые; на перевалах — стужа, метели; турки шли, и после них в снегу коридоры остались; по этим коридорам их и погнали обратно. А скоро таять начнет — еще хуже: такой поднимется смрад и зараза, — не приведи бог; где было сражение, где не было — везде валяются мороженые турки; чуть его ранят — отползет, помощи никакой, и замерзнет. Есть места — в пять рядов лежат. Жечь их собираются, только неизвестно, как наши мусульмане на это дело посмотрят, у них жечь не полагается. Да, помню, раз под вечер, я чуть с ума не сошел.

Поезд повернул, и с правой стороны открылось Черное море, серое под серыми лучами; соленый теплый ветер всплескивал пену иногда до самой насыпи; на скатах зеленела вечная трава и лианы; пальмы свешивали широкие листья через изгородь из серого камня.

— Наткнулись они под Сарыкамышем всего на три наших нестроевых батальона, — продолжал офицер. — Наши видят, сила, побросали инструмент и начали в торок палить из чего попало, а ночью в штывки. И задержали их до тех пор, пока мы не стянули войска и обошли неприятеля, вместо чем самим в ловушку попасть. В такое отчаяние турки пришли, что лезли под огонь и на проволочные заграждения, как муравьи. Вот извольте поглядеть сюжет.

Офицер протянул мне фотографический снимок; я увидел кучу тряпок, полузанесенных снегом каких-то предметов, затем различил торчащие руку, ногу, застывшее лицо.

— Здесь их человек двести, около проволок, — метлой снег обмели немножко и сняли. У меня пулеметная команда — в самое время мы успели в Сарыкамыш, к разгару боя; выгрузились и засели; видите вон то уще-

лье; примерно так же и там сел я за горкой, а полевая наша стояла, скажем, за теми холмами. Турки же переваливали с хребта, и проходить им надо было через ущелье, где каменный мостик. Пулеметное искусство, надо вам сказать, заключается в том, чтобы видеть свой пулемет насквозь, и если он откажет — перестанет работать, в ту же минуту догадаться — от какой это произошло причины. А причин у него — двадцать четыре. И ставятся они поэтому попарно: один отказал, другой продолжает.

Повалили турки через хребет, ружья вниз побросали и стали сами скатываться. Я открыл огонь, а за мной — артиллерия. Все остались лежать на дне. Сейчас же — смотрю — вторая партия лезет. Видят, что полон овраг набитых, все равно галдят, прыгают вниз, как черти. И с этими покончили, дождиком из пулемета окатили — готово. А уж потом повалили они сплошной массой; и так до самой темноты. Чувствую — не могу больше убивать; такое состояние, точно волосы дыбом становятся. Слава богу, настала ночь; на завтра мы их окружили, стали брать в плен.

Вам известно, конечно, как один капитан с полутора-ста пластунами захватил турецкий батальон, пашу, пушки и обоз; пошел на разведку, долез до хребта, видит — лагерь; часовых снял, пластунов с трех сторон расставил, сам к паше явился, говорит: «Так и так, сдавайтесь, окружены, силы у нас огромные, артиллерия и пулеметы; саблю можете оставить при себе». А когда привел всех к нашему генералу да рассказал, как было, паша даже плюнул — так рассердился. «Шайтан, капитан», — говорит.

Наколотил я турок в ущелье до самого мостика. Занесло их снегом, а через недельку нижние, должно быть, начали гнить, газы пробились кверху, сквозь снег; образовался в некотором роде вулканчик. Так я, знаете, этих гор одно время видеть не мог и чаю не мог пить — противно. А здесь — благодать, весна, с удовольствием в одной рубашке хожу, недели через две купаться можно. Прощайте, мне здесь...

И он выскочил на предпоследнем разезде перед Батумом, весело поглядывая на пестрых сизоворонок, с криком взлетающих над зеленеющими тополями.

3

В Батуме мне пришлось зайти за пропуском на позиции к знаменитому генералу Л., так нашумевшему в свое время в Персии.

Я позвонил у одноэтажного домика, где в пустой передней сидел скуластый денщик, внушающий уважение. Он ввел меня в светлый просторный кабинет. В углу приклонены высокие знамена в чехлах.

У стола стоял стройный широкоплечий человек в серой черкеске с костяными патронами и с костяной ручкой кинжала на черном поясе — генерал Л.

Он внимательно оглядел меня; его лицо с раздвоенной русой бородкой, с небольшими усами над правильным твердым ртом, с глазами холодными и серыми было чрезвычайно красивое и жуткое. Такие лица запоминаются навсегда; в них, как на камне, отпечаталась воля, преодолевшая страсти. Генерал спокойно выслушал меня, затем сказал: «Увидите на месте сами вверенные мне войска, каждый день мы продвигаемся вперед. Везде, где возможно, я даю место молодым. Честолюбие молодого офицера — в храбрости...» Он не окончил, денщик доложил о каком-то полковнике в отставке. Генерал дотронулся до моего рукава, прося остаться, и встал навстречу толстому человеку в штатском длинном сюртуке и с лицом благородным, но несколько наклоненным от почтительности к плечу; не доходя трех шагов, он приложил одну руку к животу, другую отвел в сторону и еще почтительнее склонился; я видел, как генерал, окинув его глазами, смотрел теперь только на его руки, пухлые, белые, театрально повертывающиеся в манжетах. Объясняя свое дело (отставной полковник судился, просил пропуск до какого-то села, чтобы взять нужный документ, и настоятельно пред-

лагал свои услуги в качестве честного и опытного офицера), он водил одной ладонью возле сердца, между прочим его не касаясь, другую же держал на отлете, все время вывертывая, желая подобной неестественностью доказать полнейшую свою готовность ко всяким услугам.

На середине его речи генерал сел к столу, написал и подал ему пропуск и глазами указал на дверь. Полковник, кланяясь, поспешно выпятился.

— Подобных сотрудников у меня быть не может, — сказал генерал. Но денщик опять перебил, доложив, что с позиций прибыл капитан Н. с запечатанным конвертом. Вошел капитан, молодой, загорелый, спокойный и бесстрастный; слегка поклонившись, он подал большой конверт с пятью красными печатями и, после приглашения, сел, глядя на носки грязных своих сапог. Генерал быстро сломал печати, прочел донесение и вежливо, как равному, отдал приказание. Капитан поднял умные черные глаза, наклонил голову и вышел, не сказав ни одного слова.

Выйдя из Батума, шоссе дорога загибает в ущелье, начинает подниматься все круче и выше над рекой и лепится затем по отвесным обрывам, на страшной высоте, огибая все неровности, то опускается к подножиям гор, то вновь взлетает до маленьких облаков, цепляющихся за деревья.

Автомобиль, ловко поворачиваясь над обрывами, забирается все выше. Противоположные скаты гор исчерчены низкими каменными изгородями; кое-где за ними — сады или заплатка кукурузного поля. Кое-где — домики, часто в два этажа, крытые черепицей, деревянные или из красноватого камня. Попадают небольшие поселки. Но нигде не видно ни человека, ни скрипящей арбы; за изгородями воеет одичавшая собака, да на крыше стоит старый, негодный для варева козел с веревкой на шее.

Весь этот край брошен; аджарцы сидят в горах, не жалея патронов; в занятых нами ихних окопах медные гильзы можно выгребать лопатами.

С каждым поворотом дороги впереди открывается узкая, извилистая, синяя перспектива ущелья. Иногда

стоящая над водой острая горка увенчана круглой башней с остатками стены, сбегаящей к воде. Внизу, через водопад, переброшен аркою древний тонкий мостик.

У самой воды по скалам вьется железная труба нефтепровода. Легкий теплый ветер пахнет цветами лавровишни. Из-за камней над головой свешивается желтая ветвь цветущего дрека. Повсюду в зеленеющей траве — фиалки и барвинок. Мы спускаемся, на повороте обгоняем двухколесную арбу, запряженную буйволами. Черные животные поворачивают к нам высоко поднятые морды и смотрят приветливо, словно хотят сказать: «Ду-у-ушенька!»

Внизу, у реки на зеленой отмели, между изгородями и домиками, стоят белые палатки и поднимается дым; пасутся лошади, прохаживаются солдаты; стоят две пушки на зеленых лафетах, а подалее, вдоль воды, — брезентовые двуколки, с красным крестом, и опять палатки, дым и лошади, — здесь лагерь, штаб отряда и Красный Крест, а выше — в крутых зеленых склонах горы, в непроходимой чаще рододендронов — гниют турецкие трупы. Мы спускаемся в лагерь. Всю долину закрыла вечерняя тень; слышны веселые голоса, лошадиное ржание. Мой спутник, мировой судья, разворачивает здесь новый питательный пункт, и для этого ему надо переговорить с генералом М. По пути нас останавливает военный доктор, спрашивает, где мы ночуем. Мы входим в просторную, высокую мечеть; посреди ее разбита палатка командующего. Сам генерал сейчас сидит за некрашеным столиком у окошка; на нем — солдатская шинель и картуз с большим козырьком; лицо краснощекое, чисто выбритое, с седыми усами, — французского типа; перед ним — тарелка с борщом, ломтики черного хлеба и оливки на блюдечке. Напротив, у другого столика, за телефоном сидит адъютант в поношенном полушубке. Сейчас, очевидно, минута затишья, донесений не поступает, приказания уже все посланы, на правом фланге, у моря, мы занимаем одну высоту за другой, миноноски обстреливают Хопу. В двенадцати верстах отсюда артиллерия сдерживает густо насевших

турок. Генерал и адъютант его мирно беседуют. Генерал встречает нас радушно, предлагает борща и чесноку, рассказывает, что наши разведчики только что видели на левом фланге восемь человек офицеров в прусских шинелях и касках. Я спрашиваю, много ли среди неприятельских войск немецких солдат.

— Солдат нет, — говорит генерал, — а немецкого полковника одного наши солдаты недавно закололи — вот здесь. — Он указывает пальцем за окно на зеленую гору. — Да, знаете ли, уж такое мое занятие — сидеть в узле телефонной сети. А полазил бы я по горам, подрался; завидую молодежи, так, пожалуй, за всю войну ни одного турка и не увидишь.

Зазвонил телефон.

— С наблюдательного пункта, — сказал адъютант, — турки очищают деревню.

— Продолжать обстрел, — ответил генерал через плечо.

Адъютант передал приказание на пункт и в батарею и подошел к нам.

— Завтра утром на позицию поедете, — сказал он, — все-таки поостерегитесь. Ночью был туман, турки спустились к самым нашим цепям. Увидите сами — любопытное зрелище; пока заряжают пушку, наводят, дают огонь, ничего на горе не видно, а после выстрела сейчас же показывается где-нибудь усатая рожа и по всей горе — «ба-тум», «ба-тум», «ба-тум» — затрещат ихние винтовки...

4

В сумерках маленькие облака сползли с гор, оказались сырыми серыми тучами, заволокли узкую долину, осели над водой и заморосили.

Из лагеря мы повернули назад и версты через две оставили автомобиль около брошенной прежним хозяином корчмы, где догадливый грек уже раскинул мелочную лавочку, повесив перед дверью керосиновый фонарь, зыбкий и желтый сквозь дождевое облако. Покричали перевоз и спустились, точно в погреб, к шумным волнам Чороха.

Отсюда на ту сторону перекинут стальной канат; на нем на блоке и цепи ходит большая лодка, двигаясь быстротой течения в ту сторону, куда повернут ее нос; два матроса, молчаливые и суровые, день и ночь перевозят здоровых и раненых.

На той стороне мы отыскивали по светящимся в тумане окнам двухэтажный дом, где жили до войны пограничные чиновники; на каменном крыльце стоял толстый врач, расставив ноги, заложив руки, смотрел на дождик. «А, судья, с инструментами, яблоками и мармеладом», — сказал он. И мы взошли наверх в светлые, обшитые тесом комнаты. Из дверей выглянули сестры, радостно закивали головами; в небольшой столовой у окна сидела за столом строгая худая дама, старший врач лазарета, хирург — «настоящее сокровище». Ее трудами был оборудован этот госпиталь, куда с гор и перевязочных пунктов стекаются раненые, моются в бане, перевязываются, едят и, если не нужна спешная операция, отправляются на другой день в батумские госпитали.

Она провела меня по всем палатам, попросила бородатого солдата рассказать, как он был ранен. Солдат, с черной ручищей на перевязи, сел на койке, принялся рассказывать одну из тех немудрых историй, удивительных своей простотой и наивным мужеством, в которой рассказчик хорошо не знает, чему, собственно, господа дивятся: не тому же, что он, раненый и окруженный турками, словил одного за шиворот и, отбиваясь, так его и не выпустил, представил командиру.

Затем она подошла к койке у окна, нагнулась над больным казаком; казак, похожий на сына Иоанна Грозного, умирал, часто со стонами и вздохами дыша, перебирая по одеялу пальцами. «Часа через два кандидат наверх», — сказала врач и нежно провела рукой по его лбу. Он же, подняв сухую губу, обернулся к ней, трясая головой, точно смеясь.

Затем доложили, что внизу, в конторе, ждут новые раненые. Они сидели на лавке, держа грязные

винтовки: курносый, страшно возбужденный мальчик-доброволец, низенький мужик, заросший, как леший, и длинный, унылый солдат.

Мальчику ужасно хотелось поговорить; леший попросил чаю. На вопрос, много ли турок, «как черви лезут», — ответил он равнодушно. Унылый солдат молчал. Его спросили: «Ты ел?» — «Нет». — «Есть хочешь?» — «Ну да, хочу», — и принялся есть из мисочки вкусную похлебку, осторожно вытирая каждую ложку о хлеб, чтобы капелька не упала; мальчик-доброволец, наконец, добился внимания, принял геройский вид и стал рассказывать, как их ползло семь человек к окопу, как из окопа все высывался турок с вот этакой мордой и глаза — во, как турку они застрелили, закричали «ура», побежали в окоп, и он, мальчик, первый захватил у мордастого ружье.

Вскакивая, ко всем повертываясь, он показывал старинного образца винтовку; губы его дрожали — так был счастлив, что ходил в штыки и убил настоящего турка.

Попозже в столовую, где мы сидели у самовара, вошел давешний доктор; он верхом прискакал из лагеря; был весь мокрый — папаха, худое лицо, усы, шинель.

— Вот и я, — сказал он, стаскивая с себя верхнюю одежду, — два раза чуть не слетел с лошадьё в Чорох, такая чертова темень. А у вас — самоварчик. Не прогоните?

— Гляжу я на вас, — обратился он ко мне, — завтра можете взять и уехать в Ташкент, вы — чудо, а не человек.

— Нашли куда ехать, — сказал доктор, — я понимаю — в Москву, а у вас в Ташкенте — пиндинка и пыль и ничего хорошего.

— Пиндинка! — восторженно закричал он. — Верно, у меня на ноге была и на носу. А пыли такой нигде больше нет. Знаете, когда война кончится, — я не сразу туда поеду, а морем чрез Одессу и Петроград, чтобы удовольствие продлить. Я оттуда двадцать четвертого июля уехал и тогда же в последний раз в моей жизни напился. Теперь предлагайте — не хочу, а вы говорите: чудес нет, — эге! Так же приятель мой, сотник Иванов, видели? Чудовище!

В дверь эту ни за что не пролезет. Начнет, бывало, баранину есть — смотреть жутко: ножищем отвалит кусок, намажет горчицы полбанки и ест, проклятый. Соответственно этому и пил; а сейчас, смотрю, шестой месяц трезвый; я ему: «Сотник, да что с тобой?» — «Не могу, говорит, война совсем меня от вина отшибла». Вы знаете, как он третьего дня позицию занял? — доктор засмеялся весело. — Послали его с сотней занять такую-то высоту; долезли они туда только ночью; видит — окоп, неподалеку, шагах в трехстах, турки стреляют; он говорит: «А, это же наша позиция», — сел под куст, человек четырнадцать часовых высрал, горчицу эту свою достал, устроился. Пластуны натаскали сучьев, развели костры, разулись, сало из карманов вытащили, наладили котелки, — ленивые все, как буйволы. Диву дались турки — перед самым носом расположились у них дяди, ружья сложили в козлы, кто захрапел, кто перед огнем поворачивается с бока на бок. Турки обождали полуночи и поползли; было их человек триста; часовых сняли, приноровились всю сотню живьем взять, по двое на каждого нашего кинулись. Сотник во сне чувствует: схватили. Вскинулся, палка ему попала от котелка, начал ею отбиваться, кричит: «Братцы, сонных вяжут!» А пластунам главное дело обидно, что сало их потоптали, переопрокинули все котелки. Они и рассердились. Часа два шла возня. Иванов говорит: только и слышно было, как черепа трещат; осталось на этом месте сто девяносто два турка, совершенно изуродованных, а пластунам пришлось всем ружья потом менять — приклады были поломаны. Так с позиции этой и не ушли, хотя и питались неделю одними сухарями.

Много еще историй рассказывал веселый доктор. Затем мы взяли фонарь и пошли в другой дом ночевать. В свете фонаря падали большие отвесные капли теплого дождя. Глухо шумела река... Пахло сыростью, цветами и землей. Из темноты выдвинулась лодка с двумя мрачными матросами. Приглядевшимся глазам стал приметен в тумане мутный месяц.

Облака, выморосив за ночь весь дождик, поднимались на лесные скаты гор, становились белыми, отрываясь, уходили в темно-синее небо и таяли. Мы снова проехали лагерь и двигались над рекой. Перспектива ущелья то озарялась, то гасла, освещенная солнцем из-под облаков. С каждым поворотом выступали вдаль то синие, то бурые, то зеленые кулисы гор; направо и налево, невидимые вчера, стояли каменные снежные вершины, курясь белыми тучами.

Навстречу попадались всадники; лошади их, храпя на ворчащий, как демон, автомобиль, пятились к краю обрыва; всадники соскакивали, прижимались с лошадьми к скале. Буйволы, запряженные в арбу, повертывали к нам головы приветливо и радушно; им было мило все на свете, к тому же они были так ленивы, что, завидя лужу, тотчас ложились в нее и лежали так долго, что на спину им забивались лягушки.

Миновали расположившийся в котловине у воды бивак пластунов; казаки в серых черкесках, в мохнатых шапках лежали на траве лениво, как буйволы; иные играли в орлянку, в карты. Прокатился по ущельям, отозвался много раз пушечный выстрел.

Миновали второй бивак, артиллерийский обоз. Артиллеристы тоже кто сидел, свесив ноги под кручу, кто построился на куче песку, двое ловили картузами ящерицу; при виде нас они сделали вид, что сморкаются. И один за другим неподалеку громыхали тяжкие выстрелы мортир; надрывающий шелест снарядов уносился в синее небо, за гору, в солнце.

«А вот там турки сидят», — сказал офицер, указывая пальцем на лесной скат высокой горы по ту сторону Чороха. Тогда я решил, что надо почувствовать, наконец, близость войны. Здешняя война не казалась даже отзвуком мировой катастрофы. Здесь ее понимают как необходимое продолжение бог знает когда начавшейся возни с мусуль-

манским миром. Сейчас эта возня приняла большие размеры, и только. На турок никто не обижаются, никто их не ненавидит; больше внимания уделяют восставшим аджарцам; и война ведется не спеша, спокойно, как во времена Лермонтова и Льва Толстого.

Здесь храбрость и ловкость одного человека — солдата или офицера — имеют существенное значение. На том фронте за боевую единицу считают группу людей — взвод, роту, эскадрон; здесь один человек может решить участь битвы.

Около лагеря, где я был вчера, стоит гора — пять с чем-то тысяч футов; ее занимали одно время турки; их позиции были сильны, и наши войска повсюду попадали под жестокий обстрел.

Один из казачьих (пластунских) сотников — отчаянная голова — провинился в то время, не помню чем; генерал призвал его и сказал, что свой поступок он может совершенно загладить каким-нибудь не менее отчаянным делом, то есть вместо суда получить Георгия. Сотник тряхнул бритой головой, попросил день срока, в ту же ночь выбрал двадцать восемь пластунов, сказал им речь такого рода, что они рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору. Пластун, выведенный из раздумья, стоит троих; что произошло на горе, никто хорошо не знает: слышали недолгую стрельбу, крики; турки в составе двух рот поспешно очистили гору, оставив множество оружия, убитых и раненых. Сотник получил крест.

Место, где стоял на шоссе горный артиллерийский обоз, было последним безопасным, — далее вся дорога обстреливалась. Мы оставили автомобиль и двинулись пешком, огибая высоко над Чорохом синеватые скалы.

Прямо на шоссе стояло на железном лафете орудие — такое длинное, что жерло его висело над пропастью; оно обстреливало занятые турками деревни за девять верст отсюда.

Далее вниз, по скату, раскинулась деревня Борчха — наш крайний пункт. Здесь Чорох, разливаясь в сияющую под солнцем заводь, круто поворачивает налево. На той стороне стоят развалины гигантской древней крепости;

две квадратных башни граничат ее в начале загиба реки и в конце. Ослепляющее солнце поднимается за крепостью, за турецкой горой, на той стороне.

У крайнего белого домика на крыльце стояли два офицера, курили и смеялись. Из двери вышел капитан без шапки, взглянул на нас, повернул голову и сказал: «Правее, два». — «Правее, два», — повторил шагах в двадцати от него бородатый мужик в шинели. «Правее, два», — сказал еще дальше второй бородач, сидя на парапете над пропастью. «Правее, два», — донеслось из-за заворота скалы. Капитан вынул папироску, прищурился на гору и сказал: «Огонь». — «Огонь», — повторил бородатый мужик. «Огонь», — сказал сидящий. «Огонь, огонь», — удаляясь, заговорили за скалой, и громыхнул тупой, как рев, выстрел пушки неподалеку.

Капитан выпустил изо рта дымок, повернулся на каблуках, ушел опять в домик к телефону.

Я побрел вдоль цепи солдат к орудию. Несколько глинобитных построек с края обрыва были исчерчены пулями. Дальше, у скалы, лежали рядом гранаты и шрапнель. Молодой солдат нагнулся к снарядам, поднял один и понес. «Огонь», «огонь», — пробежало по рядам, перегнало меня, и за выступом скалы опять ударила пушка; в небе на мгновение метнулся черный снаряд и заревел в высоту, за гору, отдаваясь в ущельях.

Я подошел к орудию, оно еще дымилось. Прислуга хлопотала около, чистила банником, накатывала; это была хорошая старая крепостная пушка, чрезвычайно пригодная для гор. «Уши бы надо, ваше благородие, закрыть», — сказал кто-то позади меня. Я не сразу понял и обернулся, оглядываясь. Вдруг в уши мне, в голову, в грудь стукнул тупой удар, лицо осыпало песком: это пушка выплюнула гранату и, подскочив, отпыхивалась. Солдаты улыбались, глядя на меня...

На обратном пути около домика меня остановил офицер, здороваясь, представился штабс-капитаном В., указал на шагающего с винтовкой солдата и проговорил:

— Много в газетах о разных геройских подвигах пишут, а вот этот так и умрет — никто о нем не узнает. А по-моему, он — герой.

В это время герой проходил мимо; я всмотрелся: весь он был в морщинах, глаза выглядывали из-за мохнатых каких-то щелок, русая борода росла отовсюду, где только могла, ростом был так себе, сам неказист, точно выкопали его откуда-то плугом, как корягу.

В. продолжал:

— Он, изволите видеть, третьей очереди, пригнали его во Владикавказ, заставили перед казармами улицу мести — словом, на легкую работу; видят — хилой мужичонка и семейный. Помел он улицу с неделю, явился по начальству и говорит: «Я с китаем воевал и с японцем, нам подметать мусор неудобно; уж коли от своего деревенского дела отрешили, дозвоьте воевать». Его прогна-ли, конечно. Взял он хлеба каравай из пекарни, ночью тайком ушел по Военно-грузинской дороге в Тифлис, там порасспрошал, на вокзале проводника побил: «Как ты, говорит, с воина смеешь деньги требовать», приехал в Батум и сюда прямо, ко мне: «Ваше благородие, слышал, что вы разведчиками командуете. Дозвольте у вас послужить». И с первого же раза проявил отчаянность, и не совсем отчаянность, — все-таки отчаянный человек вроде пьяного, а этот линию свою рабочую до конца гнет, и никакого страха у него, разумеется, быть не может. «Ну, я думаю, шалишь, брат, я тебя зря терять не хочу». Вот, видите, ходит, коли не особенно нужно, он у меня на отдыхе, а беру его в самое что ни на есть трудное дело. И представьте, на днях получаю бумагу из Владикавказа, что он предается суду за побег. Хорошо? Нет, пусть они меня тоже судят. Я им отписал, что такой-то солдат представлен мною к Георгиевскому кресту.

В. повел меня к себе в хибарку угощать чаем и свиной боковиной. В комнатухе у него были навалены турецкие винтовки, каравай хлеба, одежда, сапоги, табак и проч. Отодвинув на столе мусор, он очистил местечко, подал

стакан чая, сам сел напротив, облокотился, подпер кулаками загорелое, суровое черноусое лицо свое и спросил, что, быть может, мне неприятно сидеть у окошка.

На вопрос: почему? — пожал плечами: «Черт их знает, в окошко из того вон ущелья частенько стреляют, разумеется не попасть, расстояние большое; а вчера, например, засыпали нас пулями; мы от нечего делать начали отвечать из винтовок, студент-санитар и тот стрелял».

В., прихлебывая чай, попыхивая папиросой, рассказал про свое дело — разведку, вообще одну из важнейших операций в современной войне. Здесь, на Кавказе, наши и турецкие войска сидят небольшими кучками на вершинах; нашим войскам приходится выбивать противника с каждой вышки артиллерийским огнем, или штыковой атакой, или обходом, перерезывая питательную артерию. При таких условиях разведка чрезвычайно трудна: приходится в непосредственной близости неприятеля, иногда в ста — пятидесяти шагах, карабкаться по скалам, прятаться за камнями. Турки по ночам спускаются вниз небольшими отрядами, занимают щели, камни и поутру оттуда открывают стрельбу в упор. Никогда нельзя быть уверенным, что час назад чистое пространство сейчас не занято и неприятель в тылу. Усугубляется еще трудность тем, что турецким каторжникам, выпущенным из Трапезунда, и аджарцам выдается премия за каждого убитого русского, за его отрезанные уши, поэтому в густой чаще рододендронов, в зарослях лиан часто находят наших солдат обезображенными.

Руководя разведкой, В. ежедневно раза два поднимается в горы, проводит там всю ночь, прислушиваясь к звукам, приглядываясь к огням. Подкрадывается к вражеским часовым, снимает их или забирает в плен. Улучив удобное время, появляется со своими лазутчиками перед окопами, и турки, завидя перед носом узенькие штыки, надвинутые на уши фуражки, в ужасе бросаются по кустам, покидают высоту.

Рассказал В., как явился к нему с просьбой принять в разведочную команду молодой солдат, рябой и безусый,

как работал всегда впереди, ловко и мужественно; а когда его ранили — оказалось, что это баба: бывшая укротительница зверей; цирк прогорел, лев у нее сдох, она и пошла воевать.

В. повел меня обедать к прапорщику. В узенькой душевной комнатке с окном, повернутым к туркам и завешенным от соблазна ковром, сидели шесть молодых офицеров. Расторопный денщик ставил на стол горы котлет, жареной баранины и вареной, разносил в оловянных тарелочках похлебку. Бутылки с вином и водкой стояли на столе, но никто не пил. Все были и без того веселы и здоровы с избытком. Накинулись все на еду, как волчата; с полным ртом один говорил: «Ей-богу, никогда есть так не хотелось»; другой повторил: «Вот это так котлеты»; третий: «Странная история — какой в горах аппетит». Затем кто-то заговорил об аджарцах, и поднялся шумный спор из-за того, простят их или запретят являться на родные места, и также о том, может ли вообще русский мужик сидеть в горах, как аджар, не заскучает ли на одной кукурузе. «Русский мужик, знаете, это вещь серьезная», — решено было под конец.

6

Пароход грузился хлебом, сеном и припасами. На просторной открытой пристани, стоящей в воде на железных устоях, громыхали подвозимые к трапу телеги, ругались солдаты и матросы. Мирные аджарцы и оборванные персы в круглых, как трубы, барашковых шапках терпеливо дожидались очереди войти на палубу. Большой черный пароход уже свистел два раза; из бока его валил пар. Капитан торопил затянувшуюся погрузку.

Я лег на крышу трюма. Здесь же два солдата устроились с кипятком: вынули из ситцевого платка полкраюхи и отрезали по ломтю, у обоих в карманах штанов оказалось по кусочку сахару; налили в жестяные кружки желтоватый кипяток; жмурясь от удовольствия, начали

его прихлебывать, осторожно откусывая то от ломтя, то от кусочка; подошел третий, загорелый, плотный, чистый парень, посмотрел веселыми глазами.

— Кружку достал? А то и чаю нипочем не дам, — сказал один из водохлебов, высоченный солдат в полушубке.

Парень показал жестянку из-под консервов, щелкнул по ней ногтем:

— Хорошему человеку всегда дадут.

Высоченный налил ему чаю в жестянку, а другой проговорил:

— Да у него сахара нет. Он всегда так: придет на батарею ужинать — у него ложки нет.

— Я с сахаром не охотник, — ответил парень.

Высоченный не спеша шмыгнул носом, залез в штаны, вытащил замусоленный обгрызочек сахара, проговорил:

— На тебе кусочек.

Парень живо его сунул в рот и раскусил белыми, как кость, зубами.

Пароход двигался вдоль берега...

Город миновал; горы, с левой стороны от нас, подошли к морю. За их зелеными увалами светились снежные, словно выкованные из серебра, вершины. Развалины древней крепости на пологой отмели заросли плющом и лианами.

Перед нами далеко в море уходила желтая полоса пресных вод. Когда мы вошли в нее, в снастях и реях засвистел ветер, пахнущий снегом и цветами; он с силой вылетал на свободу из тесного ущелья.

Из желтоватой воды, из-под самого пароходного носа, стали выпрыгивать проворные водяные жители — дельфины; крутым побегом они выскальзывали на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без всплеска.

В небольшом заливе, близ заросших кустами развалин древнего города, пароход бросил якорь. Три раскрашенных крутоносных лодки отделились от берега, где толпился народ и желтели пустые снарядные ящики. В первую

лодку стали разгружать хлеб, во вторую по трапу спустились приехавшие, — среди них была сестра, отвозившая в город раненых, тихонькая, светловолосая, с простым утомленным лицом. Она задержалась, ступив на трап, потом оглянулась беспомощно: зыбкий трап, с веревкой вместо перил, качался над бездонной в этом месте зеленой глубиной; я взял сестру за кисть руки и попросил сходить не боясь; она послушно стала спускаться; на середине лестницы я почувствовал, что она почти теряет сознание от страха, но лишь ладонь ее вспотела внезапно, да несколько минут, пока ехали в лодке до берега, лицо оставалось бледным.

На берегу, на серых камешках, дожидались сена и хлеба обозы. К подъехавшей барке с хлебом подошли человек тридцать солдат, стали в два ряда, и с борта по воздуху, через солдатские руки, полетели караваи черного хлеба.

Сестра указала мне дорогу в лазарет. Недалеко от берега, между древних фундаментов, позднейших оград с татарскими памятниками и сожженных кустарников, начиналась узкая, всего аршина два, мостовая, сложенная из больших камней, как римские дороги. Через неширокий поток перекинут каменный мост, и другой вдалеке, а еще дальше стояла крепостца с квадратной башней, обвитой вечнозелеными лианами. На следующий день я побывал в этой крепостце; от нее сохранились два ряда стен с вросшими между камней чинарами, куда, слышав мои шаги, уползли со свистом несколько змей, маленький замок с остатками копоти и фресок на сводчатом потолке да башня, ее узкие бойницы обращены на ущелье и море.

Но еще заманчивее замка — мосты, крутой полуокружностью перелетающие через поток; казалось, они должны рухнуть, если сядет птица на них, — до того были тонки; но уже много столетий переходили через них ослики, груженные вьюками, и тяжелые арбы с круглыми дисками вместо колес; город разрушен до основания, стерлась память о населявшем его народе, а мосты все еще стоят, напоминая, что не всегда жили здесь полудикие аджарцы,

умеющие только сеять кукурузу да ставить на высоких чинарах кадушки для диких пчел.

На большой, чисто выметенной площади, окаймленной с севера цветущим яблоневым садом, а с юга — орехами и чинарой, стояли четыре здания, еще недавно попорченные шрапнелью. Напротив них раскинута большая парусиновая палатка и строился дощатый балаган: это и был приморский лазарет, в несколько дней оборудованный уполномоченным гр. Шереметевым, доктором М. и его женой.

Мне показали все помещения, конюшни для вьючных лошадей, склады белья и полушубков, затем повели обедать в татарский дом, в светлую небольшую комнату с огромным очагом и резными дверцами шкафов.

Доктор и его жена поднялись, как обычно, на рассвете и сейчас, к двум часам, были без ног. А дела не убавлялось, и они, присаживаясь на минуту к столу, рассказывали со страстью о своей работе.

За окном послышался топот лошади. Доктор сказал:

— Это Орлов, должно быть, обедать приехал. — И в комнату вошел загорелый широкоплечий поручик; у пояса его висел маленький барабанный револьвер; штаны, лягушиная рубашка; даже эполеты были засалены, запачканы, местами прожжены.

— Вот он вам и покажет дорогу на позиции, — сказал доктор. — Пообедайте и поезжайте, у него и переночуете. Человек в некотором роде замечательный. В одной этой рубашке просидел весь декабрь и половину января на горе, на шести тысячах футов.

— Ничего замечательного нет. В горах простудиться нельзя, — проговорил поручик. Голос у него был крепкий, хриплый, глаза зеленые, зубы белые. — Все-таки пришлось потом ноги лечить; до сих пор считаюсь инвалидом, состою в слабосильной команде, на отдыхе. Сорок пять дней без отдыха воевал, слава богу.

Он был моряк, дрался с японцами — был тяжело ранен — и сейчас по собственному желанию списался на берег, чтобы повоевать на суше.

В декабре он получил спешный приказ занять со своей полуротой такую-то высоту; без провианта, в одной рубахе, сейчас же выступил и к ночи влез на снежную гору, где и окопался. Высота эта оказалась чрезвычайно важным пунктом; турки сосредоточили на ней большие силы, стреляли полтора месяца день и ночь. Денщик Орлова вырыл в снегу логовище, раздобыл для барина бурку и не переставая жег у входа костер. Во время метели, когда нельзя подвезти выюки, солдаты и Орлов ели одни сухари; когда мороз крепчал, зажигали больше костров и грелись около них, не обращая внимания на свистящие в метели частые пули; на рубашке Орлова до сих пор остались следы угольков. Он никогда не мог заснуть дольше чем на час — его будил или холод, или сознание, что за вьюгой, в темноте, карабкаются турки; но всегда был весел, потому что только этим да разделением тягот наравне с солдатами можно было поддерживать в них бодрый и твердый дух.

Во время наступления Орлов спустился в долину и сейчас же занял новую высоту. Турки на этот раз оказались очень энергичными: значительными силами они окружили гору, отрезали доставку провианта и пошли на приступ. Орлова сочли погибшим: горячий бой развернулся по всему фронту, и, чтобы выручить полуроту, нужно было отбросить всю толщу турок. Ночью Орлов сигнализировал электрическим фонариком, что еще жив, имеет пять раненых и двух убитых. Он подсчитал патроны, оказалось по двести пятьдесят на человека. Тогда он принялся всю эту ночь и следующий день обстреливать частым огнем пологий западный склон горы. Турки в этом месте подались и попрятались в окопы. Вечером он сам пошел на разведку, был атакован, турка, бросившегося на него, убил из маленького своего барабанного пистолетика, определил уязвимое место турецкого расположения и ночью ринулся туда со всеми солдатами, унося раненых. Взбешенные турки сделали все, что могли; они убили еще четырех наших и многих ранили. Орлов вывел свою полуроту к морю, к нашим войскам и явился перед

офицерами без шапки, одичалый, голодный и веселый; было похоже, что он свалился с того света.

Солнце зашло за лесистые вершины; в ущельях поднялись влажные испарения. Орлову и мне подали верховых лошадей — гнедую и сивую; мы шажком проехали через сад, спустились к шумному потоку и гуськом двинулись по узкой тропе, вьющейся вдоль ущелья, над зелеными огромными камнями и водопадами горной речки. Пахло туманом и цветами лавровишни. Орлов посвистывал, сдерживая каракового жеребца. Тропа то падала вниз, то, круто заворачивая, лепилась по гребню скалы. Совсем стемнело, над горами высоко стоял месяц, загнув кверху острые рога.

Мы въехали в деревеньку; в неясном сумраке белели яблони, тонкие деревца миндаля растопыривали редкие и длинные прутья с цветущими пуговками, пышные заросли рододендрона пылали темным цветом.

Мы соскочили у крыльца ветхой избенки, отдали матросу лошадей и вошли вовнутрь. В первой дощатой комнате перед нарами горел на земляном полу костер; с потолочной балки свешивался на цепи котелок, вокруг огня сидели чумазые солдаты; в дверях второй комнаты, у денежной шкатулки, стоял часовой, блестел от огня его штык и краснела щека.

— Чайку нам поскорее да сальца поджарить, — весело крикнул Орлов, проходя мимо костра и часового в третью комнатешку.

7

Орлов прибавил в жестяной лампе огоньку и, присев за ветхий столик, принялся просматривать поданные ему бумаги. Комната была в два окошка; вдоль стен лежали низкие татарские нары; на них в углу постлана кошма и валялась ситцевая подушка — постель поручика; в другом углу стоял, бог знает откуда попавший сюда, круглый столик, какие бывают у зубных врачей; на нем в бутыл-

ках — цветы; в дальней стенке — большие щели; сквозь них виден огонь костра, слышны негромкие голоса сидящих вокруг солдат.

— Туман сам знаешь какой, — говорит за стеной солдат у огня. — Поползли они с горы, а мы стрелять; они тут же закопались в землю, как черви.

— Видишь ты — как черви, — повторил в раздумье другой голос.

Входит матрос; на нем поверх одежды парусиновая рубаха, парусиновые портки, грязные, даже совсем черные; на голове — детская шапочка с ленточками; он держит сковородку с прыгающим на ней салом и кусок калача; руки у него такие же черные, как сапоги; лицо румяное, с большими усами; он предлагает мне сала и чайку таким приятным голосом, что становится вкусно.

Орлов кончил писать и спрашивает, где доктор. «А я же не могу знать», — отвечает матрос. В это время в дверях появляется странная фигура: худой, чрезвычайно бледный мужчина с редкой и рыжей бородой; нос, углы губ, веки и борода висят у него вниз, как отмокшие; на голове — барашковая шапка, одет в синий какой-то капот с остатками серебряных пуговиц.

— Доктор, не хотите ли чаю с нами? — говорит Орлов.

Не ответив, доктор садится на стульчик; в руках у него — длинная палка, положив на нее руки, он смотрит на лампу.

— Хожу весь вечер, хожу — нет нигде свечки. Неприятно в темноте сидеть, — говорит он тоскливым голосом.

Орлов спрашивает его, не прибыло ли еще больных в команду, рассказывает про сегодняшний день. Мы беседуем о разных вещах, касающихся войны и не касающихся.

— Свечки нельзя найти здесь, как неприятно, — опять говорит доктор.

За все это время он ни разу не пошевелился.

После чая мы выходим на воздух, двигаемся мимо плетней и орешин вниз к потоку; от луны, чуть задернутой туманом, светло. Доктор с длинной палкой медленно

идет за нами. Я обращаюсь к нему, говорю, что никогда в жизни не видел подобной красоты — сочетания моря, снега и цветов.

— Что-то мне мало нравится природа. Так, какая-то, — говорит доктор, — в Киеве лучше. — И, постояв, он возвращается в лагерь.

Мы переходим через мостик; на косогоре виден костер, темные фигуры солдат и профиль большой пушки.

— Ровно в половине седьмого она разбудит нас, — говорит Орлов. — Я вам советую дожждаться обоза; вьюки пройдут около восьми часов, с ними и доберетесь до позиций.

Мы так же медленно возвращаемся; летучая мышь все время ныряет над головами, должно быть, она привыкла, что около людей толкуются комары.

— Что это доктор какой мрачный? — спрашиваю я.

— Так. Он, знаете, из Киева, домосед, — отвечает Орлов, — человек очень все-таки хороший.

Доктора мы встречаем около домика.

— Достали свечку? — кричит Орлов.

— Матрос нажевал воска, устроил свечку; воняет очень, как у покойника, — отвечает доктор тихим голосом.

В комнате уже приготовлена мне походная постель: парусина, растянута на множестве ножек, таких тонких, что страшно повернуться. Орлов ложится на кошме не раздеваясь, только сняв фуражку. Перед сном он копается в своем имуществе: ранце, где лежит смена белья, коробка папирос, бутылка коньяку и рыжая, простреленная папаха, — вынимает солдатскую газету, издаваемую в крепости, придвигает лампу и устраивается почитать на ночь, но я успеваю только повернуться на своей сороконожке — Орлов уже спит.

Разбудил меня глухой выстрел и грохот, долго катавшийся по ущельям. Я открываю глаза. Совсем светло, за окном — легкий туман и пощелкивают соловьи. Орлова уже нет в комнате; его голос, еще более хриплый, и голоса солдат слышны с крыльца. Матрос опять приносит под-

прыгивающее на сковородке сало и чай в банках из-под варенья.

— Доедете с вьюками до питательного пункта, — говорит мне Орлов. — Лошадь оставите при палатке, а сами лезьте наверх, где стоит наша батарея; оттуда видны турецкая равнина и Хопа, ее сейчас обстреливают наши суда. В батарее спросите капитана Н. Милейший человек, он вас и завтраком покормит, да, кстати, не забудьте посмотреть на Маньку, на его денщика. Знаменитый денщик! Приготавливает баранину на тридцать восемь фасонов, пудинг из нее делает. Был с ним такой случай: сидел капитан с этим Манькой на горе, в снегу. Внизу — деревня, позади нее — турки; деревня пустая — одни куры бродят. Капитан загрустил, напала на него меланхолия. Манька все поглядывает на его благородие, видит: дело плохо. А на горе в ту пору одни только сухари ели. «Поесть бы вам курятины», — говорит ему Манька. Капитан чего-то буркнул в ответ, Манька ушел; а потом смотрят — он в деревне за курами бегаёт и турки по нем стреляют из окопов. Он все-таки одного петуха схватил да в кусты с ним, за камни. Притащил на гору и сварил. Капитан ему говорит: «Не могу же я тебе, дураку, за петуха крест дать. Не смей больше слезать с горы без моего разрешения».

Ровно в восемь часов прошли провиантские вьюки. Я сел на свою лошаденку и тронулся за ними. Узкая тропа вилась вдоль ущелья. Внизу в камнях шумел поток. С правой стороны поднимались то отвесные скалы, то откосы, поросшие рододендронами и чинарами; с левой стороны — обрыв.

Рододендроны в полном цвету; среди лапчатых глянцевиных листьев пылали темно-лиловые чаши цветов. На лавровишне распускались белые пахучие свечки. Встречались поляны, сплошь синие от фиалок. Тропа медленно поднималась в гору. Иногда из лиловых чаш рододендронов с шумом вырывались водопады и падали в пропасть. Лошади переходили воду осторожно, нюхали

ее. На камешке сидел солдат; ружье и амуниция лежали подле; он мылил себе лицо, шею и бритую голову, фыр-кал, и вода текла с него совсем черная. Дальше шли два усталые солдата, неся в руках охапки цветов. Посреди тихой воды разлившегося водопада моя лошадь остано-вилась и принялась пить, переступая от удовольствия с ноги на ногу. У берега, между камней, прибита изо-дранная красная феска; на краю кручи, в ветвях оди-нокой мощной чинары, устроен насест, где сидел еще неделю назад турецкий наблюдатель, хозяин красной фески.

Отсюда, глубоко внизу, видно море; над ним повисли небольшие овальные облака. Шум водопадов едва дости-гал досюда. Здесь только медленно шелестели серебря-ные, серые леса чинар. На скатах, на примятой зелени кустов, лежал местами снег. С легким свистом высоко над головой проносились снаряды на юг, за лесистые гребни. Дорога стала чаще заворачивать, виться зигзагами, все круче кверху. На иных поворотах из темных ущелий нале-тала снежная прохлада, ветер подхватывал полы одежд, хвосты лошадей. Один раз пришлось спуститься глубоко вниз на круглую поляну, где разбросаны огромные камни, покрытые мохом; между ними в низких белых палатках спали солдаты; иные сидели около кипящих котелков; от дерева к дереву шел канат-коновязь, где стояла дюжина рыжих лошадок.

Отсюда дорога пошла еще круче, между снеговых полян; обозные и я двигались пешком. Это была самая трудная и долгая часть дороги. Бока лошадей, покрытые потом, раздувались; из-под выюков шел пар.

На самом грязном месте работали приехавшие давеча персы и аджарцы: они сгребали лопатами грязь, она же опять натекала с боков и затягивала ноги. Здесь уже не было слышно ни выстрелов, ни шума воды. Среди снежных полян в тишине стояли серебряные леса.

Когда мы выбились из сил, показалась за поворотом большая палатка, дым костра, мохнатые лошадки и солда-

ты в белых папахах. Это и был питательный пункт В. З. С¹. Студент-санитар и мальчик-повар подошли к вьюкам и стали их разгружать. Я повалился на тюк прессованного сена около костра, протянул мокрые сапоги к огню. Сидящие около солдаты замолкли; матрос с забинтованной головой подбрасывал сухие веточки в костер, где закипал эмалированный чайник.

— Подошвы спалите, — обратился ко мне солдат, сидящий рядом.

Я ответил и, должно быть, успокоил его и остальных насчет моего благодушия и нелюбопытства; матрос опять устался на огонь, держа в руках веточки; остальные по-вынимали из рукавов сигарки. Матрос продолжал:

— Вначале-то, конечно, опасно. Пуля не разбирает, где летит. А потом все равно, ей-богу. Как работаешь. И не хочется, чтобы зря стрелять, а хочется, чтобы попасть.

— А как тебя в голову стукнуло? — спросил солдат.

— За пограничным столбом, на тропе. Приказано было пройти до тропы; четырнадцать человек пошли, пятнадцатый — вольноопределяющий. Доползли, легли за гребешок, позади нас — большой камень; вольноопределяющий вскочил на него — стрельбу проверять; тут же ему прямо в шею попало — свалился мертвый, не дышал. А я, знаешь, камешек эдакой положил перед собой и стреляю, а позади нас тыркаются пули ихные, как шмели; в камень тыркнется и пыхнет, а которая близко разорвется — все лицо обдаст, как оспой; гляжу, у кого вся щека в оспе, у кого лоб в крови, — пуля ихняя как пыль, так ее рвет. Ну, потом и меня в это место чиркнула, — штука нехитрая.

Чайник вскипел. Студент грузин принялся меня угощать со спокойной настойчивостью. Солдат, еще пахнувший пороховым дымом, привел товарища — армянина с разрезанным рукавом, из которого висела черная рука,

¹ Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам. (*Прим. ред.*)

обязанная окровавленным бинтом. Студент попросил раненого присесть, подождать, пока сварится борщ, уже дымящийся в медном котле. Раненый присел около палатки; солдат, что привел его, остался стоять, опираясь на ружье.

— Кто тебя перевязал? — спросил студент.

— Сестрица его перевязала, наша сестрица, — ответил солдат. — Она за нашей ротой ушла, с нами и в окопах сидит.

— Храбрая сестрица, — сказал я.

— Да, не пугливая. Пугливая не пошла бы, — ответил солдат.

Мирные разговоры, тишина серебряного леса, дым костров, похрустывание и фыркание коней, иногда сложное ругательство солдата, споткнувшегося о лиану, — все это совсем не было похоже на войну. А между тем над нами, на вершине горы, в пятнадцати минутах ходьбы, стояла батарея. Сегодня утром ее засыпали пулями турки, выбитые к полудню и опрокинутые вниз. Внизу за горой, верстах в двух, наши роты, спускаясь одна за другой в турецкую долину, вступали в бой. Но ружейных выстрелов не было слышно, а пушки молчали.

Я вырезал себе палочку покрепче и полез на батарею по топкой узкой тропе, зигзагами взбегающей в снегах и примятых кустах рододендрона.

Невероятно, как могли сюда втащить пушки. Человек належке едва вползал, с хлопом вытаскивая ноги; от разреженного воздуха кровь стучала в виски. Говорят, артиллеристы, бородатые мужики, плакали от усталости, поддерживая завьюченных в пушки лошадей, путающихся в кустах, скользящих по снегу и грязи. Но все же к назначенному часу орудия были уставлены на горе и открыли огонь.

Едва я поднялся на гребень, как сильный ветер, свиставший между чинар, сорвал с меня папаху. Глубоко внизу раскатывались орудийные выстрелы. Я прошел между низкими палатками к небольшому каменистому

возвышению, где росло приземистое десятиобхватное дерево. У подножия его, на краю обрыва в несколько тысяч футов, стояли пушки, обращенные жерлами на юг и к морю. Несколько солдат, бородатых и суровых на вид, лежало на мху. Здесь же в яме сидел телефонист, с надетой на голову стальной полоской. Я спросил командира батареи; мне указали на кусты. В них, почти на самой земле, расстился парус палатки. Я подошел, отогнул край парусины; голос попросил меня войти, и по земляной приступке я спустился в яму, прикрытую сверху парусом, простреленным во многих местах.

На походной постели сидел офицер с татарскими усиками и бородкой; другой сидел на куче полушубков; у него было очень красивое, не то печальное, не то усталое лицо, голубые глаза, и весь он был чисто побритый и одетый чисто. Перед ними на складном стульчике — жестяные тарелочки, чашка и бутылка портвейну; и здесь же, перед вырытым в земле углублением, полным жарких углей, присел на корточках белобрысый денщик Манька, держа сковороду с шипящими котлетами.

Офицеры пожали мне руку, как старому знакомому, усадили на койку, предложили еды и вина.

— А мы только что окончили работу, помылись, и вот Манька нас котлетами кормит, — сказал батарейный командир с татарскими усиками. — Нигде так есть не хочется, как на батарее, а повар у меня знаменитый.

Ветер в это время дунул в палатку, поднял пепел с углей. Манька отвернул лицо и недовольно сморщился.

— Не любишь, — сказал ему командир. — Смотрите, рожа какая недовольная. Сегодня мне говорит: ему, видите ли, воевать очень надоело; какое, говорит, это житье на горе, здесь и котлет не сжаришь; в городе, вот это — житье. И ему хоть что: стреляют в нас, не стреляют — ходит себе, посвистывает, как скворец. А когда сковородку ему прошибло пулей, ужасно рассердился — и на турок, и на меня, и вообще на войну.

Манька сидел перед огнем, совершенно равнодушный, и как будто и не про него говорили, затем поставил сквородку на стульчик, подал обструганные палочки и вышел из палатки, недовольно отряхивая пепел с рубашки и штанов.

Наливая в чашку вино, командир подмигнул на товарища:

— Ну-ка, с днем ангела.

— Оставь, пожалуйста, глупости, кому это нужно! — ответил печальный офицер.

Я попросил его взять у меня кiset с табаком и трубку; он отказался.

— Вот тебе, брат, именины — и с подарками. Бери, бери, не отказывайся! — закричал командир.

Тогда офицер дал мне в обмен свой портсигар, с изображением самоеда на олене, и мы вышли из палатки.

Командир указал на ближнюю вершину, повыше нашей, — на ней еще сегодня сидели турки. Оттуда они на расстоянии ста шагов лупили по батарее, но каким-то чудом никто не был ранен, и к тому же их скоро выбили оттуда. Затем подошли к обрыву, к пушкам и подняли бинокли. Внизу под нами лежало просторное рыжее плоскогорье, сморщенное узкими оврагами, покрытое небольшими конусообразными вершинами и длинными увалами, подходящими к морю; у моря в одном месте оно поднималось довольно круто, и за лесом белело несколько домиков Хопы, за обладание которой боролись наши и турецкие войска. Справа, с моря, синего и взволнованного, доносились глухие выстрелы. Вдали стояла узенькая серая полоска, на ней появлялись время от времени огненные иголочки, — это был наш военный корабль, обстреливающий Хопу.

На равнине виднелись крохотные домики брошенной деревни с правильными зигзагами окопов близ нее. За деревней дымилось пожарище, двигались человеческие фигурки, и неслась оттуда частая трескотня выстрелов. Это были наши передовые цепи, только что выбившие турок